

Зайцев Бор. Москва. Памяти Чехова // Возрождение (Париж).

1931. 15 февраля. № 2084. С. 3, 5.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Человѣку семнадцать лѣтъ. Онъ кончилъ гимназю. Отецъ только что назначенъ въ Москву — управлять огромнымъ заводомъ. И вотъ первыя рождественскія канікулы... Человѣкъ дикъ, застенчивъ, самолюбивъ. Онъ пропущивъ въ школу, покуда вѣдетъ, гдѣ будетъ жить въ блаженствѣ, свободныхъ недѣль? въ самой Москвѣ!

И Москва не обманула. Сколько нова
и необыкновенного! Из уютного дома
на заводъ Гужона каждый день возить
выезжаютъ Сергѣй, въ санкахъ, по де
визскому сѣдлу, мимо Андроніева мо
сти, Николо-Ямскою — на Кузнец
Старый портной Кань, на Рождествен
ской, привѣряетъ первый «штатскій» ко
вертъ, ползаетъ на кофляхъ, черка
етъ наизомъ брюки, пытитъ, коситъ, со
своимъ глазомъ осматриваетъ художе
ство свое. На Кузнецкомъ стрижетъ па
рижскеръ Теодоръ. У Зимина въ кас
кетѣ можно купить билетъ на начинающа
го Шаляпина, у Трамблэ сѣсть за сто
лушкой и выпить чашку шоколада въ на
маленькой, небольшой комнатѣ. По зим
ней — съ картонками, покупками. Зажи
у Большого театра, толпа — все кажет
ся параднымъ и волшебнымъ: это не
только мѣсто, это столица. Необычные
театры, балеты. Дворянское собра

ние, рестораны, куда можно будет заглянуть лишь тогда, когда старый Кант пришьет последнюю пуговицу. Но какое счастье — на том же Сергее катить через два дня Соляную домой — уже в мерлушковой шапке, пальто, в черном костюме — взрослым, свободным!

Дома — особняк на заводе. Камин горит, пылает у огня в камине, в столовой матовая люстра — электрическая. (В Калуге какое же электричество). Сквозь зеркальные стекла видны осифженныя деревья (сад). За забором паровозик — кукушка тащить три вагона с болванкой: дом вздрагивает, когда он проходит у самой стѣны.

Новый миръ продолжается. У того же камина, впервые въ рукахъ новая книжка: Антошъ Чеховъ, «Хмурые люди». (Собственно, не такая ужъ новая: но для калужскаго человека...). Отвертаться нельзя. Все особенное. Люди, манера, языкъ. И самъ авторъ особенный, ни на кого непохожий. Тургеневъ, Толстой — уже извѣстно. И хотя Толстой живъ, но онъ и легенда: «классикъ», Синай, облака палъ горой. Чеховъ же «эолоидъ» авторъ, вотъ тутъ, чуть не рядомъ, въ этой самой волшебной Москвѣ живущій. Первая встрѣча съ молодостью и жажда, счастье и неутолимое стремление.

Собиновъ распѣваетъ на утренникахъ

Большого театра (ложь бель-этажа, по золоту, тяжеловесный красный бархат, пыльная пыль, капельники похожие на министров — величавое дыхание Императора). У Зимина Шалашин дьявольски хочется в красное Мефистофель, или лениво возлегает, как огромный тигр, в шатре Олоферна. Но Антон Чехов за этим, под этим, уже где-то в сердце — скромный и как будто незаметный: но дошел, покорил и оправдал.

Слава его развилась быстро, в сравнительно ранние годы, — ему не было и сорока (да и краткой жизнь оказалась!) — славу эту дала и питала Москва, наиболее — Художественный театр. Много тогда шумела Горький, но по другому, шумом мутным и безкусным, как безкусный, грубый, плебейский — плюсок был всегда (злосчастный буревестник!). Чехова Москва полюбила чистою, застѣнчивою любовью. Лавры ему несла незаслуженные — да и онъ никогда позы не принималъ. Покашливалъ, говорилъ баскомъ, пенсизъ надѣвалъ — снималъ. Долгіе годы стоялъ у меня на столѣ портретъ его, тѣхъ временъ (въ революцію погибъ): съ растрепанными волосами, узкими русскими глазами, интеллигентское пенсизъ, бородашка прямая, стоячий воротничекъ... — крестьянской семьи человекъ а безъ капли плебейства. Тоже народное въ немъ, какъ и въ Толстомъ — одинаково они первоначальныя стихи.

Чеховъ былъ изъ Таганрога, но Моск-
вой крестень, кончилъ университетъ мо-
сковскій, ладомъ своимъ, складомъ
сдержанно - великорусскимъ очень къ
Москвѣ подошелъ и не зря - да въ се-

странъ въ пьесѣ знаменитый кличъ «Въ Москву, въ Москву!» — для многихъ непонятный.

Въ эти годы, конца прошлаго, нача новаго столѣтія, было у него имѣніе подъ Москвой, близъ стціи Лопасна Курской дороги, Мелихово. Тамъ онъ и жилъ, прачеваль, благотворитель — какъ русскій писатель. Ему и подобало продолжати дѣлныя заветы нашей литературы.

Мой отец вздумал тоже купить имение. Чехова же в это время врачи направили на юг, в Крым, так что Мелихово продавалось. Мы вычитали о продаже из газет, отец списался с Чеховым, а я — тогда уже студент, тайно писавший — вызвался Мелихово осмотреть.

Повидать Чехова! Съ Чеховым по-
накомиться! Я уже зналъ его теперь на-
сквозь, видѣлъ и «Чайку», «Дядю Ва-
ню», поклоненіе расло. Значить — па-
доминичество.

Лопасня перестать в семидесяти от
Москвы. Березовые леса, поля, перелы
ски — пейзаж средней России, мягкий
и привлекательный, и «ничего особенного».
На станции пара лошадей в телогрейках
выбитых колес, жда трасой, в пыли
с кнутиком, поля, деревни и напо
нец, это самое Мелихово. Вот уж то
же «ничего особенного». Толстому и
Тургеневу — барские дома с колонна
ми, парки, пруды, александровских
времен церкви. Чехов устроился в
тёпловатой усадьбке с небольшими са
дами, вокруг дома, да флигельком в
сторону. В саду забор, под густыми
елками, а рядом ещё что-то пыльное
с темной аллеей. Пруд всё же — выко
панный. Мутная вода в нём. Но са
мое оказалось сытнее, когда бричка

моя подкатила к крыльцу: хозяина дома нет. Вот так Чехов! Я его не предупредила, он и уехал в Москву.

Меня встрѣтила Марья Павловна (её сестра), будто давно знакомого, оставила обѣдать. Мы обѣдали на стеклянной террасѣ дома, опрятного и аккуратнаго — даже довольно весело. Была молодая художница (Хотинникова), сыбишная и привѣтливая, съ высокимъ узломъ волосъ на головѣ, еще кто то, старушка матушка Антона Павловича. Думаю, во мнѣ быстро разглядѣли не столь «покупателя», какъ поклонника. Разговоръ перетѣлся вокругъ Чехова. Послѣ обѣда показывали его флигель, гдѣ въ одиночествѣ работалъ онъ. Кажется, тамъ была маленькая вышка — балкончикъ, куда онъ подымался и любилъ сидѣть по вечерамъ, рассматривая ночное небо звѣздамъ.

— Здесь у нас бывала Станиславский, говорила Мария Павловна: особенно перед постановкой «Чайки». (Какая то ель в саду, скажем так, лужайка очень напомнили первый акт «Чайки» — улыбка Марии Павловны дала понять, что корни этих декораций тут). Даже в забор и в усадьбу рядом, что то «треплевское» показалось. Вообще, хоть и не увидаль хозяина, все же его облик в незабываемом, неслепленном, обессиленном гитэд сильно почувствовал.

Было ясно, Мелихово назвать не подходило. Все-таки я ходил с какими-то старостой (как Лапашин?) глубоко и серьезно осматривать «Вишневый сад» про себя — же рыцарь Чехова непременно поглядывать.

...Через несколько дней это произошло — уже в Москву, в жаркий, пыльный

ний летний день. Человек со слегка растрепанными волосами, в пенсне, скромном пиджачке, отворил мне дверь квартиры на Дмитровку, закрывая поднимать воротничком костюма шею, и баском, приветливо сказал:

— Пожалуйте, пожалуйста....
 Это мой грѣхъ перелъ нимъ. Я навѣр-
 но, ужъ зналъ, что Мелихова ма не ку-
 пимъ, все же дѣлать видѣ, что нужная
 справка. Обманули ли я его? Къ нему
 много ходило молодыхъ людей, и по то-
 му, какъ упорно сводить я разговоръ
 на писательство, вѣроятно, быстро онъ
 разобралъ, что за гусь перелъ нимъ.
 Всетаки «секрета» своего я не выдалъ.
 И на этотъ разъ Богъ уберетъ его отъ
 моей рукописи.

Курский вокзалъ въ Москвѣ, вечеръ, ресторанъ, отецъ за кружкой пива. Сейчасъ подалутъ севастопольскій курьерскій. Новенькій китель (вензеля Горького института на плечахъ) фуражка съ бѣлыми верхомъ — первый разъ одинъ, въ Ялту, на виноградный сезонъ. Артельщики, чемоданъ, веселое лицо отца на перронѣ, поѣздун, прощанье — и купе перваго класса съ синей занавѣской фонаря. Поездъ трогается. Плавно идетъ, постукивая на стрѣлкахъ. Огни чертятъ въ окнѣ дуги. Сейчасъ слѣва запылаютъ сталелитейныя печи Гужона, бѣлые электрическіе фонари — и уже кончилась Москва. Впередѣ Лопасня, мимо нея пролетимъ съ грохотомъ, а тамъ нежданное: югъ, Севастополь, Ялта... Все опять построено чтобы повидать Чехова. Но теперь на днѣ чемодана рукописи, теперь ужъ ему не уйти.

Бор. Зайцев.
(См. 5 стр.).

Москва

(Начало см. 3 стр.)

Ночью не сразу заснешь — от сладкого волнения — хоть и целый мягкий дождь для тебя. Но день меж Орлом и Доловой, в жарких, дымных стенах успокоить. И на утро солнце, дружелюбный воздух, тополя, кипарисы, полутысячи деревушки, минареты Бахчисарая, долины, горы, белые скалы Инкермана и как дышащее темное небо над морем. От окна не оторвешься. Блестящий Севастополь в белоснежных морях. Колыхание синих волн моря, душащее — опьяняющий восторг — закричать бы от радости. Влажная, безбрежная широта востра, пронизанная солнечным туманом, дышащая йодом, солью — над блестящими волнами в белой пене проносятся.

«Пушкина» сильно качало. Дамы в палубе изнемогали. Чемодан мой не стал и не лучше, и не хуже. Прохожие с красными глинистыми берегами, монастырь белел. Из пассажиров вырвавшего парохода один разбойник — гимназист, возмущавшийся в Ялту, был в столовой четами. Остальные в лучшем случае «удерживали позиции». Шли по морю. Но у моря Ялты, в темноте блеснули по горь огоньками, всё огорче.

И началась мирная южная жизнь. Гостиница моя «Гранд Отель» — не в центре, но всё же правдоподобно: и в саду на море, и само море, и пару на море. Я обзавелся сладкою шаш-

лой, кофе пить на набережной, вечером сидеть в городском саду на музее, но думать все об одном: о чеховской даче в Аутке (над Ялтой). ...И вот вызвали меня однажды, к телефону, низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получить рукопись... Притяните, потолкуем.

(Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге — «помнить не забыть!»).

Через пять подвозили меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова. Я позвонил. Дверь открылась, такой же юноша как и я, но с трубкой рукописи под мышкой, вышел на крыльцо, за ним слегка согбенная, знакомая фигура. Мы прошли в кабинет.

Из большого окна видны горы. На стенах фотографии. Левитановский пейзаж. В нише — мягкий турецкий диван — туда Чехов и забрался, а у меня плыло в глазах. На письменном столе лежала моя рукопись.

Чехов покашлял, помолчал.

— Это у вас в форме дневника... Вы туда можете что угодно садить. Вот мы с вами напишите...

Для него я готов был написать и роман, и стихи, что угодно.

— Очень уж мрачно. Это от молодости. А так... ничего. (Он прибавил несколько «ободряющих» слов). Я вслушивался, начинал дышать.

Пенсы он свое подергивал, продолжал сидеть глубоко на диване, за молчать. Стало опять жутко. Чтобы как нибуль сдвинуться, попробовал я спросить, как сам он пишет: «с натуры, или воображением?»

Должно быть, о таких глупостях спрашивали его не раз. Он мрачно отвечал:

— Если у меня на руке пять паль-

цев, не могу же я сказать, что шесть. И замолчал совсем. Я не знала, как дальше поддержать разговор. Но вдруг сам он заговорил — приветливо, мягко: стал спрашивать, сколько мне лет, где учусь, хочу ли и где напечатать свою вещь. И сразу простой естественный тон возник. Правда, я недолго его мучила. Минуту через двадцать, выходя, в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

Я встречала его еще несколько раз — в городском саду, в ресторане. Он нервно сидел за столиком, пил красное вино, в пальто с поднятым воротником (вечера бывали прохладными). Раз, довольно поздно, натолкнулся я на него в уединенном конце на набережной, он сидел на скамейке, тоже в пальто, глубоко шляпу надвинул. Очень к нему шло одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах, ночь, звезды. Так и остался в памяти Чехов ялтинский: надломленный и кашляющий, одинокий, прохладный, со складкой задумчивости, грусти. Он уже сильно был болен. Временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники, общее внимание на музыке в городском саду, апрель, ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море... Он писал из это время «Трех сестер». Жить ему оставалось три года.

♦♦

Именно эти три года — наибольшая слава, любовь — даже обожание. «Три сестры» и «Вишневый сад», предельно вещи, как «Архипер»... — и болячка, быстро сходящая. Чехов жил в Аутке, как в санатории. В Москву

всегда тянуло (особенно зимой, когда театр: там и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился). Иногда он в Москву «сбегал», всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино.

И когда раз зимой, кажется, в 1903 г. встретил я его на «Средь» у Телешова, Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича (на Чистых Прудах), вела под руку к ужину Ольга Леонардовна поселившая, худого человека с землистыми лицами. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное «мертвое пространство» — впрочем, ему трудно было бы и заставить его (по слабости). Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти и не был, и не пил. Только покашливал, да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именины шел впервые с триумфом «Вишневый сад». Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода, в Баденвейлере ска зал: «ich sterbe» — вздохнул и умер.

Мы хоронили его в Москве, в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала, и много плакали. Плакать было о ком — не жалеть тех слез. Долго процессия шла — через всю Москву (так ее любил покойный!). Служили литию — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлый закурился в выходящем солнце купола. И ласточки над крестами прорылись.

Бор. Зайцев.